



Амаяк Тер-Абрамянц

Родился в 1952 г. в Таллине (Эстония), крестился в Луганске, школьные годы жил и учился в Подольске (Московская обл.). Член Союза писателей Москвы. Публиковался в журналах «Таллинн», «Литературная Армения», «Дарьял», «Смена», «Знамя», «Новая юность», «Волга», «Дружба народов», «Крещатик», «Гостиная» (США), «Наша улица», в альманахе «Литературная Америка» (США) и др. Автор десяти книг прозы. Лауреат и дипломант различных литературных конкурсов.

Последний русский интеллигент¹

Это был единственный человек в моей жизни, у которого я понимал математику.

Все началось с огромной красной двойки с тремя минусами в моей тетрадке по алгебре. До пятого класса у меня почти по всем предметам были четверки или пятерки; тройки — как исключение. «Тройка — это та же двойка!» — повторяла мама, поджимая губы, и больно до слез было оттого, что я ее расстраиваю. «Ну, четверка — это тоже оценка», — спокойно реагировала она. Зато, когда я получал пятерку, лицо ее сияло, и это было для меня лучшей наградой.

А тут — «пара»! Да еще какущая! Первая в жизни!

В пятом классе ввели алгебру, и вместо одного учителя появились отдельные учителя по разным предметам. И как же мы радовались, когда к нам на алгебру пришел, петушком буквально влетел в класс веселый, излучающий энергию, огненно-рыжий Эдуард (отчества не помню)! Мы в его быстрые объяснения не вдумывались, а восхищались им, на каждый вопрос: «Понятно?» — только весело кивали головами, стремясь расположить его к нам. Но после объяснений Эдуард объявил контрольную. От него мы не ожидали такого подвоха! И сразу — «пара», да еще какая! Размашистая, чуть ли не в пол-листа со спирально закручен-

¹ Здесь приведен журнальный вариант произведения.

ной головкой, колечко в колечке, волнистым хвостом, да еще с тремя минусами! — Такую пару ставят с удовлетворением, с веселым смехом! А мне он так нравился... Кольнула обида, будто меня предали. Хотя никакого предательства не было — просто поиздевался слегка... Какой позор перед мамой! Веки мои защипали слезы.

Я всеми силами пытался вникнуть в темы, задаваемые к следующим урокам алгебры, но ничего, кроме первой фразы, не понимал. Двойки посыпались одна за одной. А вот Виталий Вайсберг, наш бессменный отличник, лишь одну четверку схлопотал, нахмурился — и снова в отличники. Значит, понимал... Сознание собственной неполноценности усиливалось, и я стал «съезжать» и по другим предметам: с пятерок — на четверки, с четверок — на тройки...

Сразу после первой двойки моя мама пошла в школу, чтобы прояснить ситуацию с рыжим Эдиком.

— А что вы хотели! — ухмыльнулся молодой учитель. — Ваш сын ничего не знает, вот и получает двойки!

— Он учит, старается, — возразила мама.

— Ну, значит, у него нет способностей к математике, — пожал плечами Эдик.

— Значит, у вас нет способностей объяснять! — вспыхнула мама и ушла.

Моя неугомная мама, решившая в свое время сделать из меня великого ученого, ходила к заведующей учебной части по математике. Мария Францевна считалась лучшим математиком в школе. С моей точки зрения, она даже не была человеком, — она была физическим воплощением математики: всегда подтянутая, в сером платье, с каменным лицом, гладко зачесанными назад и собранными в пучок седеющими темными волосами и холодными светлыми глазами.

— Ваш сын не способен к математике! — жестко отрезала она.

Эдика нам, правда, быстро сменили, но от этого легче не стало: его место заняла смазливая равнодушно-оптимистичная блондинка Надежда Евстафьевна, которую я сразу прозвал про себя «ветреной блондинкой». Как вошло это определение в сознание, так и осталось, в дальнейшем лишь подтверждаясь. Она быстро объясняла новый материал, и, как я не пытался сосредоточиться и понять, после первых двух фраз все остальное тонуло в сером тумане. Но самым страшным было ее изобретение: десятиминутные контрольные в конце урока, за которые мы были должны решить два-три примера. Тугодум по своей природе, я их ненавидел особенно. Не раз чувствовал: дай мне времени побольше — и я задачу решу. Но не успевал — и снова получал двойку или в лучшем случае тройку.

Я честно старался, таращил глаза на строчки учебника. Подключился мой отец... Все было бесполезно. Приближался конец четверти. Впервые за мою жизнь замаячила итоговая двойка, будто дохнуло из холодной пропасти, к которой я неумолимо приближался... И тут кто-то из знакомых родителей шепнул маме волшебное слово: «Репетитор!»

Но где его искать? Ни в газетах, ни на листах, расклеенных на стенах и заборах, объявлений о репетиторстве не найдешь, ведь это вид частного предпринимательства, со всеми видами которого наша социалистическая страна неуклонно борется! «Несвойственное для советского человека стремление к личному обогащению!» Так что приходилось осторожно выведывать у знакомых.

Мне сменили двух или трех репетиторов. С ними у меня вышел полный провал. Помню одного — темнолицего пожилого дядьку, бывшего инженера на пенсии. На письменном столе у него стоял деревянный стакан с остро отточенными карандашами, которыми он и пользовался вместо авторучек (шариковых еще не было). Помню, как ломались эти острия, когда он нервничал. Хотя вообще репетиторы были люди терпимые, и после очередного объяснения темы спрашивали: «Понятно?». — «Понятно», — врал я, краснея, но не желая выглядеть дураком и ставить учителя в неудобное положение. «Ну, тогда пошли дальше!» — удовлетворенно говорил репетитор. А на следующем уроке по математике я получал стабильную «пару». Оставалось загадкой, как большая часть посредственно учившихся зарабатывали тройки и даже четверки, не говоря уже о Вайсберге, который был для меня просто суперменом со своими постоянными «отлично».

И тут-то кто-то шепнул маме: «Сходите к Колосову! Это очень хороший репетитор». Правда, советчик тут же добавил, что вряд ли Колосов возьмет кого-либо еще: набрал уже учеников с начала года, к тому же давно болеет... Но это был наш последний шанс.

Анатолий Васильевич Колосов жил в общежитии подольского индустриального техникума, напоминавшего школьный пенал и выходявшего фасадом на площадь 50-летия Октября. В центре стояли гранитные фигуры борцам революции: мордатый матрос, бородатый солдат в папахе и еще кто-то взлохмаченный. По всем городам России эти идолы мало отличались друг от друга: все из тесаного гранита, скуластые, с неандертальскими челюстями и надбровьями, раза в полтора-два выше обыкновенного человека, и обязательно вооруженные: у рабочего — ружье, у матроса — маузер, у солдата — пулемет «Максим», а героические мощные тулова переплетали патронные ленты. Имен и фамилий эти шедевры не имели, их звали просто: «герои революции». В 1971 году их снесли, заменив памятником героическим Подольским

курсантам, перекрывшим дорогу на Москву немецкой танковой колонне, впрочем, почти столь же грубо и безвкусно сделанным.

Готовили в техникуме специалистов для военных заводов, которых в нашем Подольске не счесть, так что любой алкаш с гордостью сообщал своему случайному собутыльнику в приступе местно-патриотического вдохновения: «Ежели война, так первую бомбу — на Подольск, и только вторую — на Москву!», и хитро подмигивал. Математика — безусловно, царица наук, ведь без ее языка не было бы ни технических чудес, среди которых мы жили (поезда, многоквартирные дома, самолеты, машины, холодильники, телевизоры, радио, горячая вода в квартире, санузлы), ни ужасов, которые хорошо помнили наши родители, обожженные войной: автоматического оружия, косящего людей, как пшеницу, дальнобойных артиллерий, танков, авиабомбардировок; не было бы и атомной бомбы, которой боялись все от мала до велика. То, что она жажнет рано или поздно, нам вдалбливали идеологи, убежденные, что последний бой между капитализмом и социализмом обязательно наступит. Некоторые высоколбые и очкастые предупреждали, что этот бой будет последним для всех, и страх проникал в души к нашим великим поднебесным небожителям, и так вслед за теорией неизбежной мировой революции вдруг появилась «гениальная» теория мирного сосуществования двух систем и их экономического соревнования, в котором неизбежно, как пророками предсказано, победит социализм.

Общежитие представляло собой двухэтажную пристройку, расположенную позади техникума. Помню длинный коридор с бесчисленным количеством дверей справа, одна из которых вела к Колосову. Мы с мамой постучали в дверь (звонка не было) и вошли. Я увидел удлиненную комнатку с окном впереди. Вдоль левой стены стояла кровать, на которой головой к окну лежал седовласый горбоносый старик в очках, с седой бородкой и нездоровым пергаментным лицом. Он походил на интеллигентов, которых показывали в советских фильмах; обычно они были или предателями, или проходимцами, или же, в лучшем случае, колеблющимися недотепами, не понимавшими смысла Великой революции. Но в его образе не было ничего комического, не было напускной важности. Из-под очков на меня спокойно смотрели голубые прозрачные глаза, смотрели, как на равного, хотя кто был я, двенадцатилетний сопляк, и кто был он, осиливавший чудовищную, как позже стало ясно, жизнь. Левая нога у него лежала отдельно — перевязанная, перебинтованная, прикрытая тканью.

Подумав, что эта встреча не предвещает мне ничего хорошего, кроме перспективы очередной раз убедиться в своем полном математическом идиотизме, я вспотел.

В комнате пахло йодом, мазью Вишневского и еще чем-то не очень приятным, однако обычно через пару минут я привыкал к этому запаху и переставал его замечать. Обычно я сидел возле Анатолия Васильевича, он брал мои тетради и простой карандаш, спрашивал, какую мы проходим тему, и что мне непонятно, потом объяснял, и мы решали заданные на дом задачи.

Взял он меня в виде исключения. Он плохо себя чувствовал, быстро уставал: гниющие ткани ноги отравляли организм. Это был облитерирующий эндартериит, неизлечимое и запущенное заболевание, от которого в арсенале медицины оставалось одно средство — ампутация. С операцией тянули: никто из хирургов не хотел брать на себя лишнюю ответственность. Но странно: первое, что я почувствовал, садясь рядом с этим человеком, — отсутствие напряженного страха, который вызывал у меня каждый учитель математики. Мало того, у нас было какое-то внутреннее сродство. Мама предложила ему повышенную оплату, поскольку я был учеником «сверх нормы», но Анатолий Васильевич наотрез отказался.

То, что я принял вначале за правую стенку комнатухи, оказалось темно-синей занавеской от пола до потолка, делящей комнату пополам. В комнате была еще одна дверь, ведущая в еще меньшую комнатку — подобие кухоньки. Жена Анатолия Васильевича, маленькая ладная старушка с симпатичным добрым лицом, одна управлялась с хозяйством. Но было в этом семействе то, что меня пугало — две дочери-близняшки: худые, долговязые и некрасивые, со страшно выпученными, будто в ярости, глазами. При попытках говорить они издавали грубые нечленораздельные звуки, в которых мне слышалась угроза. Несчастные были инвалидами по слабоумию, и могли выполнять лишь простейшие дела по дому: сходить в аптеку, убрать за собой... Можно только представить, как их ненавидели соседи по общественной кухне, месту коммунальных склок! Понимали и жалели их лишь отец и мать, которая всегда спешила увести дочерей, когда к Анатолию Васильевичу приходили ученики. Говорили, что несчастье дочек — следствие страшной ленинградской блокады, во время которой они родились.

Я приходил к Анатолию Васильевичу два раза в неделю, и, вскоре, странное дело, вдруг почувствовал, что начинаю что-то понимать в этих цифрах, значках, уравнениях, системах уравнений — квадратурах, кубатурах, извлечениях из корня... При этом я не помню, чтобы он говорил что-то особенное. Наверное, секрет его был в том, что он не брезговал начинать с самого простого, не торопясь, не пропуская ни одного звена в логической цепочке, и брови у него не подскакивали при моих промахах. Ошибки он воспринимал, как что-то совершенно естествен-

ное — спокойно объяснял, правил карандашом, и занятие продолжалось, будто ничего и не произошло. Я перестал краснеть и бояться слов «не понимаю».

Впрочем, и к моим успехам он относился также спокойно, что отбило у меня желание их выпячивать, хвастать, ждать поощрения. Существовала лишь математика, для которой любые эмоции были излишни. Спокойным тоном, простым языком он объяснял, а я понимал! Когда я выходил от него, душа моя ликovala, несмотря на приятную усталость в голове устанавливалась кристаллическая ясность. Зрение мое обострялось и углублялось: каждая веточка на дереве или кусте, ржавая крыша, ободранная дверь в библиотеку в соседнем доме, серое небо вызывали во мне радость. Мне казалось, что я сейчас смогу ответить на любой вопрос, просто решить любую проблему. Это было сродни тому забытому восторженному чувству из раннего детства, когда выбегаешь под теплый ливень, и моментально намокшая одежда заставляет ликовать каждую растущую клетку. Только нынешнее чувство было не телесное, а более тонкое, светлое, проходящее сквозь меня и разлитое во всем мире.

Я чувствовал себя по-настоящему счастливым, хотя выразить (да и понять) этого не мог. Теперь я понимаю: то была ясность духовная, которой мне так не хватало, да и до сих пор не хватает. Иногда я пытался продлить это состояние и присаживался на лавочку напротив техникума, если находил на ней незагаженный ботинками пэтэушников участок. Я с удивлением думал: как могут люди прожить всю жизнь, так и не испытав этого чувства? Как я смогу дальше жить без математики, если попаду вдруг в гуманитарный вуз? И тут же решал, что буду продолжать заниматься самостоятельно (благие намерения!).

В школе мое положение начало выправляться: из двоек я вылез на тройки, стали появляться и первые четверки. «Вот видите! — довольно говорила ветреная блондинка, — как только перестал лениться, так и оценки улучшились!»

Мои успехи в математике не укрылись от нашего отличника Виталия Вайсберга.

— У тебя что, репетитор? — спросил он меня неожиданно, прямо в лоб.

— Да нет, — легко соврал я, не моргнув.

На протяжении пяти лет Колосов оставался тайной, о которой не знал никто в школе. «Не раскрывать» его мне посоветовали дома.

— А как же Вайсберг? — однажды спросил я маму. — Ведь у него нет репетиторов, а он отличник!

— Ему отец объясняет, — нашлась мама.

До сих пор не знаю — может, был и у Виталия репетитор, которого он тоже скрывал от меня. А может, у него просто были большие способности к математике?

Но вскоре случился скандал. После очередной контрольной я принес четверку. Я был доволен, но мама, просмотрев тетрадь, нахмурилась:

— За что тебе поставили четверку?

— Как «за что»? Я же хорошо написал!

— Но у тебя не отмечено ни одной ошибки!

На следующий день разгневанная мама атаковала нашу математичку.

— Что вы хотите, — пыталась отбиваться ветреная блондинка, — он же троечник!

— Что значит «троечник»? — взорвалась мама. — У него последнее время не было троек! Посмотрите журнал!

Математичке не было нужды смотреть журнал: она и так прекрасно помнила наши отметки, тем более, что с моей фамилии начинался список учеников.

С тех пор у меня стали чаще появляться пятерки. Я даже начал догонять моего приятеля, первого отличника в школе Виталия Вайсберга.

В это время меня собрались бить. Всем классом (и девчонки тоже). За что? Это остается для меня загадкой до сих пор. Я ни с кем не конфликтовал, всем давал списывать контрольные и домашние задания. Дружил я только с Валерой Плешковым, с которым мы сидели за одной партой — тихим светлоглазым, худеньким (даже еще более худым, чем я) мальчиком да с Виталием Вайсбергом. С другими мне было просто неинтересно. Наша троица постоянно обменивалась приключенческими и фантастическими книжками, которые остальных не интересовали. После уроков класс строился на выход. Вперед всегда выбегали, отталкивая всех, самые горластые хулиганы и двоечники, а мы скромно вставали в конец очереди, с увлечением обсуждая прочитанные книжки, содержание которых для нас было гораздо важнее того, что творилось в реальной жизни. Дети в нашем классе были в основном из рабочих семей, только мы с Виталием — из врачебных, да у Валеры папа был какой-то крупный строитель.

И вот в сумерках, выйдя из школы, мы с Виталием увидели толпу ребят из нашего класса. «Тебя бить собираются! — внезапно сказал Виталий, который откуда-то знал все и каким-то непостижимым образом был со всеми в ладу. — Лучше вернись!»

Я нехотя повернулся и побрел обратно в школу. Там сел на длинную лавку и принялся ждать. Меня душил справедливый гнев. Ведь это так гадко — бить одного всем вместе! Неужели они этого не понимают? Пару раз с улицы заходила шпана — незнакомые ребята, «их» союзни-

ки. Они передавали, что со мной хотят «поговорить», но я им не верил. Было гадко и скучно сидеть в холле в одиночестве. Пару раз мимо проходила уборщица с ведром и шваброй.

— Ну, что сидишь? — спрашивала она.

— Меня бить хотят... Ждут на улице...

— А-а, ну тогда сиди, сиди, — и она двигалась дальше.

Несколько раз я выглядывал в окно. Толпа редела, но выходить было рано. Чем дольше я сидел на длинной школьной лавке, тем жальче мне себя становилось. С каким трудом я преодолевал эту математику, было известно только мне. Ведь, помимо проблем с математикой, в доме постоянно происходили скандалы, которые то и дело устраивал отец, когда приносил бутылку коньяка и, выпив, становился агрессивным, придираясь к маме, по поводу и без. В эти минуты я его ненавидел и клялся, что никогда в жизни не возьму в рот спиртного. Мама говорила, что это последствия тяжелого сиротского детства, войны и блокады, но от этого не становилось легче.

Ну, за что меня бить? Неправильный вопрос: бьют не «за что», а «почему». Потому что не такой, как все! Новенький, приехавший откуда-то. Я не здоровался с хулиганами, мои фамилия и имя отличались от их имен. Я был смуглым, за что одна бабка в нашем дворе прозвала меня цыганом. Я не любил шумных игр и всячески от них отлынивал, зато читал какие-то книжки, а теперь я еще становился «хорошистом»! Одним словом, причин бить, «чтобы не зазнавался», было предостаточно.

Спустя три часа, обеспокоенная моим долгим отсутствием, пришла мама, разогнала остатки компании и вызволила меня из плена.

Но этим дело не закончилось. Как только я пришел утром в школу и сел за парту, на меня вороньем налетело с десятков ребят и девчонок. Бить меня в классе меня опасались. Я не помню даже смысла обвинений: ребята орали на меня, девчонки что-то верещали, а двоечник и дурак Леонов встал ногами на мою парту и принялся махать ботинком перед моим носом. Он так удобно подставился, что я схватил его за стопу и дернул, и Леонов шлепнулся спиной о парту.

В этот момент зазвенел звонок. Бой был выигран! После этого меня никто не задирает.

Нога у Анатолия Васильевича отказывалась выздоравливать и продолжала гнить, создавая угрозу для всего организма. Мама привела к нему моего отца. Ногу пришлось отнимать.

Операция прошла блестяще — уж кем-кем, а хирургом мой отец был от Бога, что признавали все. Через пару недель я впервые увидел Анатолия Васильевича в вертикальном положении. Он прыгал на костылях,

усаживался за стол, покрытый клеенкой, я — напротив него, и занятия продолжились. «Культя сформировалась очень хорошо», — удовлетворенно сказал отец, посетивший моего учителя. От природы Колосов, видимо, человек был крепкий. Вскоре лицо его побелело и посвежело, губы порозовели. Мой спаситель по математике заявил, что будет заниматься со мной бесплатно, но мама возмутилась, зная нищету этой семьи, и они договорились об умеренной скидке.

Колосов напоминал мне профессора Николая Леонидовича Гладыревского, представителя «старой», как тогда говорили с оттенком презрительного сожаления, дореволюционной интеллигенции. Когда мы жили в Таллинне, и отец защищал диссертацию, его научным оппонентом был профессор Гладыревский. Как я узнал много позже из биографии Булгакова, написанной М. О. Чудаковой, Гладыревский был личным другом писателя Михаила Булгакова. Они познакомились в Киевском медицинском университете. Впрочем, в ту пору о Булгакове даже не заикались — антисоветский писатель!

Колосов внешне напоминал Гладыревского: горделивая посадка головы, седая бородка, очки, высокий лоб, зачесанные назад волосы, только кожа у профессора была розовее — как писала Мариэтта Омаровна, из-за пристрастия к «русскому народному лекарству», то есть водочке (возможно, следствие компромисса с новой властью). Это были обреченные «динозавры» той настоящей дореволюционной русской интеллигенции, частично выбитой, выкинутой из страны, частично нашедшей свое место в «новом» обществе, но вымирающей и абсолютно непохожей на новую узкоспециализированную «народную» советскую интеллигенцию, напоминающую общую инженерно-служащую массу.

Русская дореволюционная интеллигенция — явление особое, историческое, не имеющее аналогов на Западе. Там существует интеллектуал, специалист в своей профессии. Понятие «русский интеллигент» включает в себя качества духовные и душевные: честь, благородство, уважение к человеку любого происхождения, бескорыстная, даже себе в ущерб, любознательность, стремление передать свои знания, до последней крупички, коллегам и ученикам... Полунищие, они совсем не походили на тех классовых врагов, карикатурными образами которых пичкали литература, радио, кино и телевидение.

Мой отец застал многих из них, поступив в 1928 году в 1-й ленинградский медицинский институт, и отзывался о них почти с религиозным пиететом.

Русская культура входила в отца легко и свободно. В одиннадцать лет, не зная ни слова по-русски, потеряв родителей в омуте геноцида армян, чудом выжив, года два находясь в нищенском предсмертном

голодном состоянии, он попал на Украину, к старшей сестре, которая была уже замужем и имела детей. Где ему только не приходилось работать, чтобы обеспечить себя хлебом насущным: отец продавал папиросы и клубнику, клеил кульки, работал на мельнице и в макетном цехе паровозостроительного завода (он тепло вспоминал своего учителя, рабочего по фамилии Антипов). Там он заметил, что в мыслях все чаще использует русский язык. Родилась нестерпимая жажда учиться, подняться над торгово-лавочным людом, которого во время НЭПа развелось в изобилии. Криминальные сделки были отцу отвратительны, а в горланящем комсомоле он сразу почувствовал фальшь демагогии и вранья. Хотя о каком русском языке можно было говорить в те времена в захолустном Луганске — смесь простонародного русского, испорченного украинского, деревенский диалект армянской деревни, откуда отец был родом, тоже уже искаженный... Отец нанимал репетиторов и занимался в сырой съемной каморке, по стенам которой подтекала вода. Литература, алгебра, геометрия... Торговцы армяне смеялись: зачем это тебе, деньги — главное!

В Петербурге отец впервые услышал классический русский язык.

Детям с хорошим воспитанием дворянского, священнического, купеческого и служащего происхождения путь в высшие учебные заведения советской властью был намертво закрыт, как детям классовых врагов. Старая профессура — «классовые враги» — делала, что могла, для окультуривания новоприбывшей безграмотной молодежи из деревень и местечек. Одним из методов были бесплатные воскресные лекции. Гуманитарии со звездными именами раскрывали перед молодежью сокровища русской литературы, декламировали шедевры поэзии и прозы, которые не успела запретить новая власть.

На таких лекциях всегда был аншлаг. Я не слышал разговоров отца с Анатолием Васильевичем, но наверняка они находили общие знакомые забытые, запретные, затертые имена... Странно, отец помнил по именам многих своих учителей, а я, закончивший советский вуз, мог назвать только две-три фамилии. Профессор Черноруцкий впервые измерил отцу артериальное давление. Профессора Ланг, Джанелидзе, Шор... Отец удостоился слышать самого великого Павлова! Он был близок к его ученику, академику Орбели. Многие по крови не были русскими, но русская культура и была тем пресловутым «плавильным тиглем», который делал из них и русских интеллигентов, и патриотов, и ученых. К студентам они всегда обращались на «Вы». Их манеры и речь легко прививались и отцу.

Он рассказал забавный случай из своей студенческой жизни. В их общежитии отключили свет. Студенты от нечего делать в темноте сло-

нялись из номера в номер, порой не зная, кто находится в комнате. В одной из комнат оказался отец. Присутствовавшие до утра рассказывали разные истории. Когда рассвело, один из студентов спросил, кто здесь говорил на самом чистом русском языке. Все были удивлены, когда это оказался самый смуглый человек, самой что ни на есть резкой кавказской внешности — мой отец. Думаю, это был главный экзамен по русскому языку в его жизни.

К восьмому классу я стал стойким четверочником, несмотря на ненавистные «скоростные» контрольные, и даже нередко получал пятерки. Пошли слухи, что к десятому классу я должен выйти на серебряную медаль — на золотую упорно, не отклоняясь, шел Виталий Вайсберг. Четверки у меня оставались только по литературе и русскому языку.

Когда нам ввели геометрию, я осилил ее почти без помощи Колосова. Видимо, ум у меня был более образный, чем абстрактный: мне доставляло удовольствие выводить доказательства на основе лемм и теорем, исходя из подобия углов, параллельности линий.

А учителя грозили тригонометрией и стереометрией.

Нам часто задавали на дом трудные задачки; решившие их должны были объяснить ход своих мыслей у доски на следующий день. Обычно мне все разъяснял Колосов. Но однажды после уроков наш класс погнали в клуб на какое-то мероприятие. Мы пришли на час раньше и разместились в холле. Тут ко мне подошел Виталий Вайсберг и протянул брошюру с домашним заданием: «А вот эту задачку ты точно не решишь!» Сам Вайсберг решить ее не смог.

Это была задача по тригонометрии: конус, пересеченный плоскостями, образующими множество окружностей и углов. Я сосредоточился. Минут пятнадцать возился, пока не узрел маленький, еле заметный угол, начав с которого, можно было раскрутить всю задачу. Еще пять минут — и задача была решена!

«Вот!» — небрежно-торжественно показал я решение Виталию. Глаза его округлились. Я торжествовал: впервые я переиграл несокрушимого Вайсберга без помощи репетитора!

Прошло более сорока лет, а я до сих пор горжусь этой маленькой победой. С того раза я почувствовал уверенность в себе и все чаще решал задачи без помощи репетитора.

Колосов присутствовал во мне уже навсегда!

Я всегда ездил к нему с большой охотой. Иногда мне очень хотелось поговорить. Но о чем?.. Я совершенно ничего не знал! Не знал ни русской литературы, кроме двух-трех имен, к которым советская школа успела привить тошнотворное отторжение своей фальшиво «классо-

вой» интерпретацией, не знал истории страны, в которой жил. Что я знал? Ледовое побоище, Куликовскую битву и революцию, когда свергли царя... Еще Гражданская война была с лихим усатым Буденным... Отечественная, когда немцы напали на нас, и когда мы их все четыре года били, били и били... Знал про ленинградскую блокаду, которую переживший ее отец называл самым страшным сражением в истории этой войны... Сталинград, говорил он, не так страшен. Еще что-то слышал о сталинских лагерях, но почти забыл...

О политике дома не разговаривали. «Это опасно, — повторял отец, — за политические разговоры сажают». И я ощущал этот невидимый, но повсюду разлитый страх, витающий над людьми, их самостоятельными критическими словами... Почему? Откуда? Отец не объяснял: просто говорил, что все вранье. И серый, хмурый придавленный Подольск, дымящий трубами, ничем не походил на коммунизм.

О чем же говорить? Может, о приключенческих книжках, в которых я единственно находил отдохновение? Но язык не поворачивался рассказывать Анатолию Васильевичу о «Всаднике без головы» Майна Рида или содержание двенадцати прочитанных томов Жюль Верна, которые я по счастливой случайности приобрел в нашем книжном магазине на краю леса.

И он о себе ничего не рассказывал, кроме всего одной фразы, услышанной мною за пять лет, но оставшейся в моем сознании на всю жизнь.

К тому времени случилась радость: их несчастное семейство наконец-то получило отдельную однокомнатную квартиру, типовую «хрущевку», казавшуюся им по сравнению с общежитием раем небесным. Помню первый день, когда я пришел к ним на новую квартиру. Я сидел в большой и единственной комнате на стуле и тоже радовался: наконец у них своя квартира, без соседей!

Теперь мы занимались на кухне за накрытым клеенкой столом. Анатолий Васильевич сидел спиной к окну, а я по правую руку и мог видеть его в профиль.

Тогда он вдруг и сказал, вне связи с темой занятия, смотря светлыми прозрачными глазами в стену, отделявшую кухню от туалета, совмещенного с ванной, будто видел там что-то значительное: «Я окончил петербургский университет в 1914 году...» И замолк.

Я молчал, потя, не зная, что ответить. Какой же я был дурак! Случись это на десяток лет позже, когда после медицинского института передо мной всплыла целая Атлантида великой русской литературы, заблестал «Серебряный век», появились редкие книги и перепечатки запрещенных и полузапрещенных авторов: Гумилева, Бунина, Шмелева, Бальмонта, Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Булгакова и многих других

ярких и талантливых — страницы не хватит перечислить! Он же видел все это, он был свидетелем и участником! Сколько вопросов я бы смог ему тогда задать! Сколько навсегда ушедшего он мог бы мне рассказать! Эх!..

Перед тем, как я пошел в девятый, Колосов честно признался маме, что не возьмется готовить меня к высшему техническому учебному заведению, вроде МИФИ или МВТУ: он считал, что не имеет достаточной для этого квалификации. Однако родители мои не очень расстроились: они уже настраивали меня на медицинский институт. Сошлись на том, что я буду приходить к Колосову, когда мне будет что-то непонятно по школьной программе, тем более, что главным предметом, на котором я не без интереса сосредоточился, теперь стала химия.

Кажется, это была наша последняя встреча с Колосовым. Я пришел поблагодарить его и проститься. Ему нездоровилось, и он полулежал на диване в комнате. Рядом сидел кто-то из его учеников.

— Ну, что же дальше? Куда будете поступать? — спросил старый учитель, пожимая мне руку.

— Океанографом буду! — неожиданно для себя бухнул я, краснея.

— Океанографом? — седые брови слегка подскочили, — Ну что ж...

Мне на самом деле эта мысль пришла только после его вопроса, но, выйдя от Колосова, я задумался. И правда — есть же в Москве при Университете океанографический факультет... Но мамин вариант оказался проще и осуществимее. И ехать куда-то, узнавать уже было поздно.

Молодость эгоистична. Я редко вспоминал Анатолия Васильевича. Я поступил в институт и был ошеломлен объемом знаний, а главное, системой тотальной зубрежки, касающейся и анатомии, и латыни — дисциплин, по которым я не вылезал из двоек и троек. Как это все не походило на стройное здание математики или химии, где одно вытекало из другого! А я-то полагал, что каждая наука такова!

Кажется, в тот период я и услышал о смерти Анатолия Васильевича, но даже не успел погоревать. Смерть представлялась мне легкой, почти одномоментной — схватился за сердце, и не стало! Я и не представлял себе, что чаще умирание — длительное, мучительное и унижительное.

Однажды, годы спустя, мама на рынке неожиданно увидела одну из дочерей Анатолия Васильевича. Вид ее был ужасен: протянув руку, она выпрашивала милостыню. Шок был настолько силен, что мама, оцепенев, прошла мимо. Бывают события настолько неожиданные и ужасные, что душа в первый миг будто отказывается в них верить, их замечать, а тем более — как-то осознанно реагировать.

Вернувшись домой, мама чувствовала, что потрясение отступает, сменяется стыдом и растерянностью. Совершенно очевидно, что случилась огромная беда. Возможно, в «лихие» девяностые несчастную семью лишили жилья, документов и пропитания... Мама твердо решила, что необходимо что-то сделать. Надо найти дочь Анатолия Васильевича и устроить через социальные службы в больницу, дом инвалидов, помочь с документами... Она уже многим помогала и знала, куда обратиться.

На следующий день мама пошла на рынок, но, сколько ни искала несчастную женщину, не смогла ее найти. Не нашла она ее и на следующий день. Она никогда больше не видела дочери Анатолия Васильевича, и совесть ее не могла успокоиться.

«Почему, почему я тогда не остановилась, не взяла ее за руку? — корила она себя до конца дней. — Никогда не прощу себе...»

Вечная вам память, Анатолий Васильевич! Я чувствую вину, что не помню имен вашей супруги и дочерей, но Бог их знает. А я вас не забуду.

Страсти по математике

Дома между собой мы с мамой называли ее не иначе, как «ветреная блондинка». С тех пор, как ее назначили преподавать математику в нашем классе, она стала для меня сущей бедой. Обычно *ветреная блондинка* бодро входила в класс, быстро объясняла новый материал, вызывала к доске решать задачи, а под конец урока устраивала десятиминутные контрольные на скорость, которые я ненавидел более всего.

Она была и в самом деле блондинка: с кудряшками, голубыми ледышками глаз, ладненькая. Про таких не говорят — «красивая», но всегда — «красотка»! Своих детей у нее не было; я слышал от взрослых, будто она сказала: «А зачем мне они? Мне и так хорошо!»

Я еще не знал, что у этой, внешне ко всему безразличной училки, могут быть свои любимчики и нелюбимчики, что позже оказалось для меня, с моим дурацки обостренным чувством справедливости, шоком.

Вова Золотарев был пухлый добродушный двоечник, который даже и не пытался подняться с самой нижней ступеньки успеваемости. Казалось, впрочем, что он от этого вовсе не страдал. Необычен был его отец. В отличие от других родителей двоечников, которые нечасто и лишь по вызову, с явной неохотой являлись в школу, этот человек очень переживал за сына. Он часто приходил в школу, советовался с учителями, пытался выяснить причину неуспеваемости, которую все объясняли обыкновенной ленью. Это был простой человек, фронтовик, по-

нимавший, что без образования из его сына толку не выйдет. Кажется, он испытывал все методы наказания сына «за лень», но это не помогало. Наконец, совместными усилиями, его и преподавателей, возникло предположение, что Вова не интересуется учебой не только из лени, а потому, что не понимает того или иного предмета, в частности, предмета, считавшегося в школе наиглавнейшим — математики.

Я никогда не видел, чтобы двоечник пытался исправиться. А тут... На очередном уроке математики Вову Золотарева вызвали к доске решить задачу по новой теме. И я с удивлением услышал, как Вовка стал правильно отвечать на последовательные вопросы математички, выполняя действие за действием. Я был в восторге, я трепетал за него, как болеют за любимую хоккейную команду, хотя мы и не были друзьями. Это значило, что в нем заговорила совесть и ответственность перед отцом и собою, и он впервые попытался разобраться в материале! Я был свидетелем чуда преображения! Казалось, решалась его судьба! Вова отвечал на каждый вопрос не сразу, как любила математичка, а после некоторого раздумья, но правильно. Он уже успешно одолел половину задачи — за одно это другие получали вождеденный трояк, так сегодня ему необходимый, но ветреная блондинка не отпускала...

И вдруг Вовка сбился, и на очередной вопрос ответил неправильно. Ветреная блондинка будто того только и ждала. «Все, два! Иди!» — с удовлетворением реализованной власти отчеканила она и захлопнула учительский журнал, будто муху пришибла. Лицо Золотарева вмиг утратило выражение серьезной сосредоточенности и приобрело привычное выражение дурашливой расслабленности. Глупо улыбаясь, он поплелся к парте. Больше попыток выправиться он не делал, видимо, вконец убедившись в собственной неполноценности. И отец его после того случая больше не появлялся в школе.

А в конце четверти внезапно открылось, что любимчик *ветреной блондинки* — не кто иной, как мой школьный друг Валера Пушкин, худенький мальчик с огромными голубыми глазами.

Был конец четверти. Валера стоял у доски и беззвучно плакал: задачка не давалась! И я сам, и, по моим наблюдениям, другие ребята, и девчонки, плача, шмыгали и сморкались, но у Валеры не только нос не покраснел — он даже ни разу не шмыгнул. Удивительно! Он умел плакать одними глазами — как икона! И тут вдруг наша *ветреная блондинка* великодушно спросила у класса: ну как, поставим ли мы ему двойку или нет? Решайте! Поднимите руки: кто за то, чтобы не ставить «плохо»? Особое коварство этого предложения было в том, что выступать против одноклассника перед учителем у ребят считалось верхом подлости. Неохотно поднялось несколько рук, в том числе и моя, хотя я знал, что

мне за подобную ошибку спуску не дали бы. Но Валера был друг, и я должен был его поддержать. Многие притворились, что не расслышали предложения, крайне несправедливого для них, никогда поблажек не получавших. Но Валера стоял у доски и молча плакал. Увидев, что поддержка недостаточна, блондинка устроила переголосовку, лишив самых «тугоухих» надежды на участие в спектакле. Она устраивала переголосовку два или три раза, пока руки не подняли большинство, кроме, может, некоторых девчонок. Даже отпетые двоечники проголосовали «за»: не могли же они предать одноклассника! А уж Золотарев поднял руку одним из первых!

А я вдруг вспомнил, как Валера защитил блондинку на уроке труда. Защитил, конечно, громко сказано: я просто спросил его, не кажется ли ему странным, что почти на каждом уроке труда *ветренная блондинка* приходит к нашему трудовику Терешкину с какой-то просьбой. Например, математические инструменты починить, без которых мы, кстати, на уроках прекрасно обходились, — деревянные треугольники, логарифмические линейки, угломеры... Учителей математики в школе было немало, но к трудовику ходила одна она. Терешкин не проявлял ответной активности и отвечал ей сдержанно, даже не оборачиваясь. Он был женат, в школе учился его сын, мягкий смуглый паренек с умными глазами, совсем непохожий на своего грозного величественного отца с татуировкой якоря на кисти, означающей в моих глазах принадлежность к высшей касте человечества — морякам.

— Не кажется ли тебе это странным? — спросил я друга.

— Не кажется, — буркнул Валера.

Слава труду!

— Аветисянц, — грохотал учитель труда, — ты на кой черт это наворил!?

Я стоял посреди класса с верстаками, понурился голову.

Все начиналось так хорошо: страшную математику неожиданно заменили сдвоенным уроком труда. Не то чтобы ребята, включая меня, души не чаяли в этом предмете, но тут можно было вполне законно побездельничать. Хотя нашего учителя труда все в школе побаивались. Звали его Геннадий Иванович Терешкин. Ходил он, как и все учителя труда, в синем халате и в синем берете с нелепым хвостиком (только такие, с хвостиком, и были в продаже). Этот дурацкий хвостик и этот халат «унисекс», как сказали бы сейчас, так не шли к его выправке и обветренному мужественному лицу моремана (его морское прошлое убе-

дительно доказывал синий несводимый якорек на кисти правой руки). Ему бы стоять на капитанском мостике, зорко всматриваясь морским биноклем в горизонт, и отражать тайфуны. Что привело его в этот сухопутный город за тысячу километров от моря и вынудило носить почти клоунское одеянье? Было неизвестно, почему благородную борьбу со стихиями Терешкину пришлось сменить на серенькую однообразную жизнь учителя труда в нашем скучнейшем небольшом городе. Был он немногословен, вел уроки аккуратно, выполняя программу подготовки для страны новых рабочих. Для этой цели в классе вдоль окон в ряд стояли токарные станки. Правда, работать на них практически никого не заставляли, опасаясь, видимо, травм учеников и порчи оборудования.

В хорошем расположении духа ребята нашего класса спустились к закрытому кабинету труда (Терешкин задерживался). И тут в коридорчике перед дверью в кабинет я увидел кипу деревянных реек. Здесь же, на станине, находились огромные стальные ножницы для резки металла или еще чего. Вот это «еще чего» мне моментально захотелось испробовать, испытать. А что могло для этого подойти лучше реек?

Я взял одну рейку, и ножницы с легкостью перекусили ее пополам. Захотелось попробовать еще раз... Тюк да тюк! Тюк да тюк! Минут через семь количество реек удвоилось, хотя каждая оказалась вдвое короче прежней...

Как появился Терешкин, я уже не помню, но когда он увидел плоды моего труда, быстро загнал всех в класс, — и разразился ураган! Казалось, его голос непременно разбудит мертвых на городском кладбище. Но, к чести сказать, морская выдержка и тут ему не изменила: ни слова мата, хотя душа трудовика явно кипела еще более от невысказанности.

— Ты можешь объяснить, зачем ты это сделал? — который раз вопрошал он, а ребята нашего класса веселились и хихикали, получив представление вместо занятий.

— Что ж ты наделал! Вон уже вымахал какой, а думать совсем не научился!

Терешкин не был бы моряком, если не нашел никакого художественного выражения.

— Ну чем ты думал, чем? — загремел он.

И он завернул такую фразу, что со всех сторон грохнул смех. Ржали все от самых последних двоечников до хорошистов, лишь наш единственный отличник Виталий Вайсберг тонко улыбнулся. Меня обдало жаром стыда: Терешкин разом обнажил перед всеми мою позорную тайну раннего полового созревания...

Не помню, с какого класса у нас начались уроки труда, но началось все не с железок, а с дерева, и преподаватель был другой: тихий мужик

со сливовым носом. Эти уроки мне даже нравились. Нравилось, как пахнет дерево, как из рубанка вылетает свежая стружка, и шершавость становится наощупь гладкой, как зеркало. Целый год мы трудились: сначала создавали чертежи, потом шаг за шагом двигались к заветной цели — созданию одежной вешалки! Лучшая из вешалок, как невнятно обещал сливовый нос, попадет на выставку. И надо же, лучшей из всех вешалок была признана моя! Я уже грезил выставкой и славой...

Конечно, на ВДНХ я не претендовал. Но, возможно есть музеи и выставки поскромнее, где мой шедевр займет заслуженное место? На мои вопросы, где я могу увидеть свое творение, учитель бормотал что-то невнятное, вроде: «уже отвезли». Скорее всего, наши вешалки были розданы преподавателям школы. И слава Богу.

Хуже у меня обстояло дело с железом: верстаком, напильником, ножовкой, зубилом. Тут не было взаимности, хотя цель, ради которой мы трудились учебный год, была вполне достойной: создание совка для уборки мусора. Конечно, вначале были чертежи на ватмане, а потом работа. Железа на один совок шло чуть меньше, чем на создание ручного пулемета. Получилось нечто фантастическое, чем вполне можно оглушить пса-рыцаря, если бы таковой осмелился приблизиться к школе. До сих пор помню сверкающие заклепки, соединившие ручку и ковш из легированной стали. Однако на каком-то этапе я что-то попутал: из ковша агрессивно торчал острый стальной уголок. Тут о выставке даже не намекали, и совки сразу поступили в личную собственность каждого учащегося. Мама смотрела на мое произведение с изумлением. «Мда-а!», говорила она, берясь за веник и совок и покачивая головой. Тем не менее, при всей своей безобразности, чудо-совок прослужил дольше почти всех известных домашних предметов, не менее пятнадцати лет, и был оставлен лишь в связи с переездом на новую квартиру.

Трудовым воспитанием государство занималось серьезно: на заводах хронически не хватало рабочих по причине повального пьянства и безответственности. Радио и телевидение с утра до вечера взхлеб твердили о каких-то славных «трудовых династиях», «трудовых подвигах», романтике перевыполнения плана, о высокой чести быть «потомственным рабочим», да и зарплаты у рабочих, как правило, были выше, чем у интеллигенции — врачей и учителей, что косвенно подчеркивало превосходство физического труда над умственным. Вообще к интеллигентам было отношение, как к «буржуазным недобиткам», классовым врагам (недаром в официальной социальной стратификации интеллигенцию удостоили двусмысленного звания «прослойки»). Однако эта демагогия мало кого соблазняла. Каждый, кто учился хотя бы на твердую тройку, мечтал поступить в военное училище, а хорошисты — в ин-

ституты. Несмотря на пропаганду, конкурс абитуриентов в вузы год от года только рос.

Для вовлечения молодежи в рабочий класс в школьной программе предполагалась экскурсия на завод. В Подольске заводов было много: только общесоюзного значения штук десять. Подольск был типичным пролетарским городом, которых в средней России сотни.

Завод оказался старый, дореволюционный, о чем свидетельствовала цифра «1914», выложенная светлым кирпичом на одной из пылящих труб. До революции 1917 года завод изготавливал знаменитые швейные машинки. Какую продукцию он выпускал ко времени нашей предполагаемой экскурсии, нам не объяснили. Скорее всего, как и большинство заводов города, продукцию военного назначения, скромно именуемую «оборонной». Помню узкую желтую проходную с плакатом «Слава Труду!» и профилем Ленина. Затем мы попали в цех. Это была огромная и мрачная бетонная коробка, внутри — движущийся конвейер с непонятными деталями. Вдоль конвейера стояли одни женщины в синих халатах. У них были бледные нездоровые лица с темными подглазьями и общим выражением обреченности и безнадеги. На нас они смотрели с усталым равнодушием.

Вернувшись домой, я заявил, что ни при каких обстоятельствах не стану рабочим, и еще более налег на учебу.

Нас учили, что «труд сделал из обезьяны человека». Получалась, однако, неувязочка: если пролетариат — самый прогрессивный класс человечества, то, значит, физический труд важнее умственного? Но как же тогда самолеты, подлодки, ракеты, полеты в космос, радио, телевизор и прочее? Речь, письменность и книги, наконец? Да и на «прогрессивный класс» пролетарии Подольска не очень тянули: после семи вечера из проходных заводов выливались потоки рабочих и вливались в гастронормы, выстаиваясь в огромные очереди за водкой или портвейном. По улицам было ходить в это время было неприятно и даже небезопасно: везде пьяные лица, ор, мат, а нередко и драки...

Сейчас я понимаю, что напрасно презирал этих несчастных, обманутых лозунгами людей.

Часа через два пьяного буйства город затихал. Поздно вечером можно было ходить по улицам совершенно спокойно: большая часть населения, сраженная зеленым змием, утрачивала способность мыслить и передвигаться.

Однажды нам поручили вскопать клумбы у школы, где потом расцвели желтые ноготки с медовым ароматом. Я вонзал в землю штыковую лопату и выворачивал ком земли, блестящий гладким сырым пластом. Решить домашнее задание по математике, понять новую тему по химии

казалось куда более сложным, чем вскопать десять таких клумб! К тому же умственный труд почти всегда связан с постижением чего-то нового — не то что однообразный труд у конвейера или с лопатой. Хотя в тот день вскапывание клумбы под веселым весенним солнышком, вместо урока грозной «царицы наук» — математики, было в радость.

